

В. В. РОЗАНОВ

Новые вкусы в философии

Навсегда осталось у меня в памяти одно смешливое и до известной степени философское воспоминание. Лет 7 назад приехал сюда, в Петербург, покойный московский философ Ник. Як. Грот, редактор «Вопросов философии и психологии»¹, и как в портфеле редакции лежало несколько моих статей, напечатать которые он затруднялся по таким-то и таким-то соображениям, то для переговоров он и пригласил меня к себе, где-то на Большой Конюшенной. Морозное было утро, и в первый раз я увидел славное, здоровое (увы, это было обманчиво!) русское лицо председателя Московского психологического общества². В то время очень нашумело энергичное заявление «тоже знаменитого» или, может быть, «еще более знаменитого» петербургского профессора философии, г. Александра Введенского (знаменитых Введенских у нас два — Алексей в Москве и Александр в Петербурге, оба философы³): «что из общей недоказуемости бытия всех вещей философ вправе исключить личное свое бытие: подавая голос и пр., размышляя и т. п., он имеет в этих самоощущениях непререкаемую очевидность своего существования. И, таким образом, философскому скептицизму должен быть положен предел: объектов, правда, нет или они призрачны, зато наверно и бесспорно существуют субъекты»⁴. Ужасно страшусь, не передаю ли я философу Александра Введенского совершенно наоборот: т. е. что философы до него предполагали достоверным по крайней мере существование субъектов, а он отверг и это. Может быть, в «Вопросах философии и психологии» поднялся тогда ужасный шум из-за этого тезиса Введенского, писали «pro» и «contra», доказательно, умно и пространно⁵.

День был ужасно морозный. Грот стоял спиной к хорошо натопленной изразцовой печи, а я немножко ему завидовал.

— Так, решительно вы отвергаете и личное свое существование?

— Помилуйте, какое же это доказательство?! «Философ издает голос и слышит его». Но ведь это феномен, где же ноумен? И в лесу звуки он слышит — однако это миражи. А что там, произнося слова, он шевелит гортанью, то ведь он при этом чувствует только 1) усилие и 2) сопротивление, а что они такое в себе самих — кто же это знает? И самая эта связь гортанных усилий с воспринимаемыми его ухом звуками — не проблематична ли?

«И что ему сесть на диван: тогда я погрелся бы», — толкалось у меня в голову.

— Так, вы говорите, дядя ваш (известный статс-секретарь) умирает? — спросил я вслух.

— При смерти.

— И никаких надежд?..

— Ну... ему почти восемьдесят лет. Я и приехал сюда поэтому... Знаете, семья растет, ежегодно новый ребенок, жалованья три тысячи в год... я уже стал брать частные занятия по разбору дворянского архива, справки нет, замучился. Может быть, вот теперь...

И страшно было думать, что этот молодой, красивый и свободный человек так гоним нуждою.

— Так, Введенский не прав, и нет достоверности даже в субъектах?

— Какая же достоверность? Все иллюзии. Все только кажущееся. «Мир есть только мое о нем *представление*», этим тезисом кончил Кант, и этот тезис поставил первую строчкою в своем главном произведении Шопенгауэр. Бороться против этого...

— Так, вы думаете, ваши обстоятельства поправятся?

— Непременно...

И главное — морозный день, эта Конюшенная, и что он так дьявольски долго не отходил от печки, поставив и сапог на маленький карниз внизу, чтобы согреть подошвы ног, когда мои назябшие ноги ничего такого не имели, и сам я ежился — все сопоставилось так ярко и изумительно с его упорным философским тезисом!

«Эх, философы! философы!..» — подумал я. Да, мне кажется, эти прозябшие ноги, Конюшенная и смерть дяденьки и есть подлинный ноумен, которого вы ищете: а что там написал Александр Введенский, и о чем вы спорите в журнале, и то, о чем ты читаешь в Московском университете лекции, — все суть такие коротенькие феномены, что даже и рассмеяться нечему. Были и нет. Да и вы сами ими не интересуетесь. Ну, кто же из-за открытия Введенского прискакал бы из Москвы в Петербург? Но мысль о дяденьке — привела. Ему и кресла. Ему трон. А «ноуменам» и «феноменам» даже и табурета подать не стоит.

Теперь я уже остыл и, верно, передал все это тускло. Но не может читатель вообразить, до чего в тот миг, при этой встрече ярко-ярко конкретного с столь же упорным, фанатичным убеждением Грота, что «ничего не существует» — легло на душу мою тем ярким впечатлением, которое завершает и ставит точку около целого ряда таких же подготовительных впечатлений. И раньше для меня действительность была милее книг; иная уличная сценка — казалась красивее стихотворения, написанного о такой же сцене на улице. Ей-ей, философы и философия только ходят бледным призраком около реальной жизни; они не только сами сухощавы: около них похудела и действительность.

* * *

Вот почему я был совершенно подготовлен к восприятию таких книг, как «Апофеоз беспочвенности» г. Л. Шестова. Заглавие яркое, но очень

неточное — нужно бы подписать: «апофеоз бессистемности», каковая поправка сделана и самим автором в подзаголовке названного сочинения: «опыт *адогматического* мышления». До сих пор он был, напротив, жестокий систематик, начав свою литературную деятельность двумя книгами: «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше» и «Достоевский и Ницше». В обширном введении к книге он рассказывает о некоторых своих философских переживаниях, которые имеют далеко не личный только интерес, и их придется принять во внимание всякому систематiku философии и историку философов. «Я уже писал, — рассказывает он, — новый труд и довел его более чем до половины, когда более и более начал чувствовать отвращение к его продолжению. Все было готово: материалы, план (вероятно, по “систематизации” какого-нибудь писателя); оставалось только излагать далее и “завершить”. Но я почувствовал глубокое несовершенство и неистинность всей работы, — не по технике исполнения, а по самой задаче работы. Например, от простого перемещения таких-то и таких-то излагаемых идей, от нового соседства такой-то мысли с другою, — тогда как у излагаемого автора стоит это иначе, — она получает совершенно новое, боковое освещение и теряет истину глубоко-личного выражения. Я работаю над автором и “выясняю” его, между тем мысли автора и должны остаться в той бледности, неуверенности, колеблемости, какая есть у него; что только в этом виде они и сохраняют свою художественную тонкость и человеческую искренность. Я возненавидел свои “следовательно”, “но”, “потому что”, — все эти искусственные и вовсе не верные сцепки логического здания. Книга, таким образом, рассыпалась. И вместо нее появился хаос афоризмов. В этой груде мыслей, ничем не связанных, каждая страница воспринимается отдельно; может быть, она и не верна: но ее неверность ничего не разрушает в двух соседних страницах и в свою очередь нимало не зависит от того, верны или неверны они. Каждый камешек здесь говорит за себя и только о себе и имеет свою удельную цену, определяемую составом его и обработкою, а никак не ценностью постройки, в которую он вставлен. Да и вовсе нет такой постройки». Вся книга представляет собою сырую руду души автора — души, проработавшей много, утончившейся, наточившейся в этой работе; но которая вдруг ослабла и, растворив двери в себя, говорит: «Входите сюда все и смотрите, что тут осталось, и выбирайте, что кому нужно: я сам не оценщик более своих богатств, и даже я отказываюсь от них, как собственник». Получилась (по нашему мнению) книга действительно интересная, изумительно искренняя, с которою ни в какое сравнение не могут идти его работы над Толстым, Ницше и Достоевским.

Своеобразная метаморфоза писательской и философской манеры. Авторы пишут или начинают писать «отрывками», без системы и порядка; но и мы, читатели, не имеем ли неодолимую потребность, начиная с известного возраста, читать тоже «отрывочно» и, например,

купив книгу, не читаем ее от доски до доски, а только «просматриваем», т. е. «выуживаем» из нее что-нибудь почти наугад, а остальное бросаем, переходя к другой книге. Таким образом читатель, в восприятии, можно сказать, предупредил намерение автора, как оно сказалось у г. Шестова. Читатель разбивает «сочинение» на афоризмы; он прямо разрывает «сшитую» единою мыслью или единою темою книгу на отдельные листы, выбрасывает целые главы, не читает ни конца, ни начала, не знакомится с «исходными точками зрения» автора, а просто берет что-нибудь из его наблюдений или из его мыслей, берет с удовольствием и пользою, чтобы никогда потом не забыть, но книги, как *целого явления*, не берет себе в душу. Секрет этот — секрет читателей позднего возраста. Но его нужно скрывать от молодежи, которая должна учиться ревностно, читать целиком и даже систематично. Ей, на молодые зубы, всякая страница в корм, всякое сведение еще ново, всякая мысль крепче того «юношеского молока», которое бродит в жилах раньше появления в них настоящей крови. Ну, а на старые зубы нужно чистое зерно, без «связывающей» их соломы...

Г. Шестов, обращаясь к собственной жизнедеятельности философов, указывает тщету и искусственность их систематизирующих построений. «Всякий философ-исследователь рано или поздно сбрасывает с себя намозолившую ему спину вязанку чистых идей и делает привал, чтобы зачерпнуть живой воды из эмпирического источника, — хотя бы он и дал вначале самое торжественное обещание не прикасаться к эмпиризму». Самый яркий пример этого — Кант, когда от «критики чистого разума» он перешел к «критике практического разума». Никто не имел этого чистосердечия, как он. Обычный процесс нашей жизни — постоянное движение, постоянное самообновление, постоянное видоизменение себя. Но этот нормальный процесс жизни имеет в себе «колена», «переломы»; и философия, большая у больших людей и маленькая у маленьких, возникает обыкновенно в этих «коленцах» личной биографии, когда движение вдруг и в сущности временно останавливается, и тогда человек начинает подводить «итоги», воображая, что все «кончилось» и он увидел возделенную «крышу» над собою. На самом деле человек просто устал, да и разработал действительно до конца задатки предыдущей фазы своего роста: такой маленький факт личной биографии, из-за которого не стоит кричать и сочинять целые книги. Но у даровитых это выходит обманчиво хорошо. «Здесь, может быть, и кроется разгадка того, что каждое новое поколение выдумывает свои истины, нимало не похожие на истины предыдущих поколений и даже не имеющие с ними никакой преемственной связи, хотя историки из сил выбиваются, чтобы доказать противное. Какая может быть связь и взаимное понимание между бодрым юношей, вступающим в жизнь, и усталым стариком, подводящим итоги своему прошлому...»

* * *

Все это так... И психологически прав г. Шестов. Но остается остроумною старая победа Рудина над Пигасовым:

— Никаких нет убеждений!!!

— Это ваше убеждение?

— Да! Да!

— Как же никаких: вот вам на образец одно — ваше собственное...

Г-н Шестов написал 285 страниц, посвященных литературе, морали, метафизике, истории, — страниц прекрасных и вдохновенных. Связаны ли они каким-нибудь единством? Конечно да! Упорным, фанатичным отрицанием *системы*, свободною отдачею ума своего, вкуса, сердца, веры власти живых фактов жизни и литературы. Но что же мы видим? Потеряв «систему» — книга его выиграла в истине и точности: качества научные и, надеюсь, философские. С «системою» он был просто компилятором: и, посвящая труды свои Толстому, Ницше, Достоевскому, — был рабом этих гигантов, что в конце концов ему наскучило. И, конечно, как бы тщательно ни было произведено «препарирование» чужой головы, — живая голова все же лучше этого своего «препарата». Говоря попросту, если юношеству еще и могут быть необходимы и приятны «путеводители» по чужой душе и мысли, то для зрелого человека они никогда не заменят удовольствия в третий и пятый раз пропутешествовать по «собранию сочинений» интересного и содержательного писателя. Шестов бросил работу не философскую, не точную, слабо научную и перешел... не к «беспочвенности», и даже не к «адогматизму», а к очень определенной системе чистого эмпиризма, материализма, натурализма, но только художественно и даже поэтически выраженного; выраженного, во всяком случае, патетически.

Тут есть не только философия, а даже немножко религии: «мир Божий лучше человеческого». Лучше — и в смысле истины, и в смысле красоты, и в смысле даже морали; чище, прочнее, невиннее. К нему, к его подножию Шестов и положил венок философа. «Тебе буду служить», «ты кумир мой». Вкус и убеждение, встречавшиеся уже у греков, и совершенно вписуемые в «историю философии», как бы это ни было неприятно автору «Апофеоза»... И какое слово выбрал: «апофеоз» — ведь это вопль сердца, умиление, вера, и как не сказать с Рудиным:

— Вы ничего не апофеозируете? Вы все отрицаете? Всю философию от Фалеса до Канта? Но этот ваш «апофеоз» и есть ваша философия!

Мне кажется, историей своих занятий г. Шестов и приведен был (по крайней мере отчасти) к своей последней книге. Он посвящал свои труды и Достоевскому, и Толстому, о которых сказать, что они «не философы», конечно, никто не решится: хотя они и не написали не только «систем», но и никакого учебника или рассуждения с «на-

чалом, серединою и концом». Они все — в замечаниях, в оговорках; в восклицаниях и афоризмах. И от этого философия их несравненно жизненнее, ярче, нужнее каждому, чем философия профессоров наших университетов, да и не одних наших... Но и далее: разве Заратустра Ницше не изрекает только афоризмы, разрозненные страницы? И наконец, отходя назад, разве Шопенгауэр искал свою философию так, как от Декарта до Канта германские, французские и английские философы? Философия испытала во вторую половину XIX века перелом, какого никогда не знала и который был гораздо существеннее старых переходов от «системы» к «системе», старой борьбы между критицизмом и идеализмом, между эмпиризмом и «дедукцированием» (дедукция, отвлеченная логика). Перелом этот состоял как бы в изменении «костяного состава» философии. Сверх ума — она вдруг начала получать *характер, темперамент*. В бескровных щеках ее зарделся румянец. Мертвец ли воскрес, кукла ли ожила, но только, начиная с Шопенгауэра, мы стали замечать в философе еще поэта, художника, демагога, «пророка» — цельную личность вместо хорошо отпечатанной, переплетенной и поставленной на полку книги. Своею книгою г. Шестов не создал новую мысль, а дал название — если и не точное, то яркое — явлению, не только давно назревшему, но почти и созревшему и давно получившему власть, обаяние и признание. Вместо «системы мысли» или «ряда систем мысли» будущей историк философии будет иметь дело с «системою человека» или «рядом систем человека», т. е. будет изучать, рассматривать и объяснять ряд очень высоких и законченных человеческих личностей, громадно влиявших на свое время, но которые говорили стихами или прозою, романом или рассуждением — это совершенно безразлично.

Философия потеряла старую форму. Но потеряла ли она прежнюю задачу? Напротив: она и сбросила старую, изжитую и уже начавшую прикрывать собою ложь форму, чтобы сохранить верность вековой задаче своей. Философия ведь не столько есть «истина» или «система истин», сколько неустанное к ней стремление, ее искание. «Мудрецы», уже все узнавшие, те и назывались «σοφος», «σοφοί». Таковы теперь учителя гимназии. «Философ» же обозначает только «друга» мудрости, ее «любителя», ее «любовника», который может быть очень несчастен, всю жизнь проискав, прогонявшись за призраками и так и не увидавши своей Дульцинеи... Г. Шестов, написав более сотни «отрывков», из которых за каждый порознь, т. е. за *истину* каждого, он сцепится зубами и когтями с критиком и читателем, конечно, не есть человек, который потерял и отверг «почву под ногами» или возненавидел все и всякие «догматы», а есть фанатичнейший искатель своей «Дульцинеи», но только она у него раздробилась, как и у рыцаря Ла-Манха, на множество образов, которые при ближайшем рассмотрении оказываются простыми трактирными служанками. Чувствую,

что у Шестова зеленеют глаза и он готов схватить меня за горло: «это *подлинная* Дульцинея...». Но ведь я и вызываю гнев его только с тем намерением, чтобы защищать старую рудинскую истину, и вместе старую истину всей истории:

— Есть убеждения! Есть истина! Есть вековая к ней любовь, именуемая философией!

* * *

Философия становится лирической. Да не отражает ли она, в этой перемене темперамента своего, огромную совершившуюся перемену во всем течении мировых дел и отношений? Лириками становятся или хотят быть и священники — на место прежних «догматиков»; дипломаты стыдятся переписываться только через канцелярию, а произносят речи на митингах; больших романов, т. е. больших и спокойных эпических созданий, как у Диккенса и «старого» Толстого, не появляется, и даже никто не ждет, не начнется ли «с января» новая «Война и мир», новый «Домби и сын», тома этак на три, на четыре... Никто этого не ждет, т. е. исчезло это в инстинктах человека; даже ученые открытия сообщаются торопливо и нервно, через какие-то «рефераты, прочитанные в заседании общества такого-то», и новый Ньютон не засядет на много лет за многотомный труд, как еще недавно делал это Дарвин, делал Милль, эти «эпики» науки и философии. Переменилось сердце человеческое. И «сумасшедший» Ницше, до такой невероятной степени овладевший настроением целой Европы, был своими афоризмами-мечтами, «афористической» тоскою, афоризмами, «предвещаниями» и «пророчествами» только ранней, очень раннею ласточкою, приведшею «другое время года» нашей цивилизации. Кант, т. е. ум его калибра и направления, не только не появлялся долго, не только не появится, но его и не нужно больше. Заметьте, нет и историков таких, т. е. такого калибра и направления, как Соловьев, как Карамзин, как Шлоссер или Вебер. «Полные собрания сочинений» разбились на томики, да и томики разорвались на страницы. Между тем воображать, что это только по бессилию и бесталанности нашей эпохи, — невозможно. А открытие радия и радиоактивности? И тот же Ницше в философии? Или у нас философ и поэт Соловьев, которого не поставит же наряду с Владиславлевым и Троицким? Всюду лирика подымается, всюду эпос падает. Кто не замечает это поразительное всюду отсутствие смеха, умения смеяться, предрасположения смеяться? Лирики — не смеются, а вот эпики — слишком часто. Одновременно, как Толстой писал «Войну и мир», Щедрин — смеялся. Русская ли литература не смешлива? Смех составляет $\frac{3}{4}$ ее, и притом самые талантливые: от Кантемира и Фонвизина, через Грибоедова и Крылова и вплоть до Гоголя и Щедрина; но уже у Щедрина смех вышел неуклюжим, тяжелым,

не легким; очень нужным по политическим обстоятельствам эпохи, как бы вызванным, вынужденным, но внутренне для самого автора трудным и мучительным. Гоголь «незримиыми слезами своими» подвел черту старому смеху, как бы сказав: «За чертою — будут слезы, выкрики, стенания...» Величайший в нашей литературе смех и последний настоящий смех. Но что же такое делается в истории, куда все клонится? Дико было бы сказать, что мы менее теперь дорожим «истиною», положим, — философскою или научною, или что мы менее деятельны, менее ищем, усиливаемся, работаем... Все, напротив, страшно уторопилось, а сердца исполнены тоски и ожидания. Но этим сердцам совершенно стали не нужны целые категории прежнего созидания; не строится ни великих дворцов для царей, ни великих храмов для Бога, как вот не строится и этих «прочных философских систем»: будто точно ожидают все, что вот придет облако и все поставит в тень, придет вечер и сметет все... Но что я предсказываю? Слишком «догматично» и определенно: тут меня поправит Шестов. Может быть, ожидается не «философская система», а «новое святое слово»... «Святости», дорогого чего-то искали, больше, чем основательности, и у Шопенгауэра, и у Ницше, несмотря на его «а-морализм»... Ищут чего-то снимающего раны, утешающего: «Дух-Утешитель придет» — это что ли? Похоже и на это, как похоже и на бурю Утешение... Правда, на такое обещание все подняли бы голову, не засмеялись бы, как непременно засмеялись бы в «классический век русской сатиры», или сказали бы «не нужно» в счастливые дни «классической германской философии».

А книгу Шестова почитайте: на редкость занимательна, «нравоучительна» и ни страницы лишней.

В. А. БАЗАРОВ

Апофеоз беспочвенности... или все-таки жажда почвы? (По поводу книги г. Шестова «Апофеоз беспочвенности»)

Мы, несомненно, переживаем так навеваемый «критический» период. Всех давит какая-то тяжесть, всем тяжело дышать и трудно двигаться. Но что это за тяжесть? Как сбросить ее? Да и нужно ли еще ее сбрасывать? — На эти вопросы получаются самые разнообразные ответы. Одни видят эту тяжесть в самой сущности жизни, в самой природе